
Глава VII

В ГОДЫ ВОЙНЫ: 1941—1944

За два дня до нападения фашистской Германии на СССР Хрущев был в Москве. Там он, по его собственным воспоминаниям, «буквально томился», но не мог добиться позволения Сталина вернуться в Киев. Он хотел быть на своем рабочем посту. Что толку в пребывании на «обедах и ужинах питейных», которые «просто были уже противны»?

Но Сталин настаивал: «Да останьтесь еще, что вы рветесь? Побудьте здесь»¹.

В конце концов вождь смиростивился, и утром 21 июня 1941 года Хрущев вернулся в Киев. Прямо с вокзала он отправился на работу и до дома добрался только вечером. Однако час спустя, около десяти вечера, его вызвали обратно в ЦК, где заместитель по военной обороне предъявил Хрущеву документ, из которого следовало, что немцы готовы напасть: до начала войны остаются считанные дни, возможно, даже часы. И почти тут же пришла весть с Западной Украины, из города Тернополя: германский перебежчик сообщает, что нападение состоится в три часа утра. Всю ночь Хрущев провел на рабочем месте. И в самом деле — вскоре после трех часов ночи, едва на востоке позолотили небо первые лучи рассвета, пришло известие о нападении немецких войск. А час спустя вражеские бомбардировщики уже бомбили киевский аэродром.

Хрущев знал, что Советский Союз к войне не готов. Его старый друг, нарком обороны Тимошенко недавно инспектировал западные военные округа и обнаружил множество серьезных упущений на всех уровнях. В декабре 1940 года, во время военных учений, Жуков, сменивший Тимошенко на посту командующего Киевским военным округом, действуя за «синих» (немцев), одержал решительную победу над

«красными». В дела сугубо военные Хрущев посвящен не был, однако Жуков и Тимошенко делились с ним своими тревогами. В докладе, направленном Сталину в апреле 1941-го, Хрущев отмечал чрезвычайно медленное продвижение работ по строительству укреплений и просил направить сто тысяч рабочих, чтобы закончить строительство к 1 июня 1941 года².

Однако, несмотря на все это, Хрущев не сомневался в победе Красной Армии. Неподготовленность СССР к войне стала в полной мере ясна только после 22 июня. Репрессии обезглавили армию, лишив ее не только ведущих маршалов и генералов, но и командующих военными округами, 90 % начальников штабов и их заместителей, 80 % командиров дивизий и корпусов, 90 % штабных офицеров. Правда, СССР значительно превосходил Германию по числу танков и самолетов, однако модернизация была начата слишком поздно: полевые и штабные учения не были ориентированы на оборону, слишком много важных военных объектов оказалось сосредоточено на уязвимых приграничных территориях, войска были плохо организованы и недостаточно маневренны, артиллерийские части и запасы снабжения также были расположены чересчур близко к границе³. В довершение всего, вспоминает Хрущев, «не хватало оружия, не было даже винтовок»⁴.

Сталин игнорировал многочисленные предупреждения: сообщение Черчилля в апреле 1941-го о том, что немцы собирают войска на восточной границе; сообщение советского посла от 22 мая, где говорилось, что нападение запланировано на 15 июня; телеграфное предупреждение советского посла из Лондона о том, что Гитлер нападет на СССР «не позднее середины июня». Всего за несколько часов до начала войны Сталин уверял Жукова, что «конфликт еще возможно разрешить мирными средствами», и ворчал: «Нет, Гитлер развязывать войну не собирается. Просто хочет нас спровоцировать»⁵.

Чем более зловещие тучи собирались над горизонтом, тем упрямее игнорировал их Сталин. Вот почему первый приказ, полученный Хрущевым и его коллегами в то страшное утро, был: не открывать ответный огонь. В середине дня, когда военные действия уже шли вовсю, советским самолетам было приказано не залетать на вражескую территорию дальше 100—150 километров от границы, а войскам — вообще не переходить границу «до получения приказа»⁶.

Только после полудня вышел знаменитый приказ № 3, в котором Сталин приказывал армии сопротивляться врагу,

разбить его и вторгнуться на его территорию. Однако «мы еще точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары, — докладывал Жуков заместителю начальника Генерального штаба Николаю Ватугину. — Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и уж тогда принять нужное решение?»

— Я разделяю вашу точку зрения, — отвечал Ватутин, — но дело это решенное⁷.

Несколько часов спустя Жуков и Хрушев были в Тернополе: Жуков прилетел из Москвы в Киев, откуда оба они отправились в долгое и опасное путешествие в Западный край на автомобиле. В это утро Сталина разбудили в двадцать пять минут четвертого. Политбюро собралось в Кремле на рассвете. К концу дня было уничтожено около 12 тысяч советских самолетов, что дало нацистам полное превосходство в воздухе, а немецкие войска вторглись вглубь советской территории. Прошло еще несколько дней, прежде чем ужасная правда открылась в полной мере: советские войска на Западном фронте были разбиты, уничтожены или окружены, и немцы получили полную свободу действий⁸. Только на юго-западном участке фронта, где Хрушев стал главным политкомиссаром, советским войскам удалось некоторое время удерживать свои позиции. Однако германские танки рвались на восток со скоростью 200 километров в неделю, и уже к середине июля под угрозой оказался Киев.

Двадцать семь миллионов советских граждан погибли в этой войне, по праву носящей в России название Великой Отечественной⁹. А те, кто выжил, стали свидетелями и жертвами поистине неисчислимых ужасов и зверств — как нацистских агрессоров, так, увы, и НКВД, не прекращавшего свою работу даже в самые страшные военные годы.

Парадоксально, однако, что многие выжившие впоследствии вспоминали годы войны с ностальгией, как едва ли не лучшее время в своей жизни. Иллюзорные «враги народа» забылись перед лицом реального врага. Большая часть советских граждан (исключая население Западной Украины, Прибалтики и Бессарабии, где многие поначалу видели в немцах освободителей) сплотилась перед лицом общего противника. Сталин сделал ставку на патриотические и националистические чувства русских, начал использовать в своей пропаганде отсылки к традиционным ценностям — вплоть до религии. Люди стали свободнее и смелее; многие надеялись на более свободную жизнь после войны¹⁰.

В своей знаменитой речи 1956 года Хрущев саркастически обвинял Сталина в том, что тот якобы планировал военные операции «на глобусе»¹¹. В действительности Сталин был талантливым стратегом и непревзойденным организатором — однако планирование длительных кампаний ему не давалось, к тому же он был полным невеждой в военной тактике. Стремясь как можно быстрее добиться превосходства над врагом и не думая о цене победы, он вел войну, не щадя своих солдат¹². Однако из испытаний войны он вышел еще более могущественным, чем прежде — архитектором победы, символом нации, властелином половины Европы.

Война изменила Хрущева. С самого первого ее дня он находился в гуще сражений: вместе с Красной Армией отступал от Киева к Сталинграду, а затем вернулся обратно и вновь приступил к своим обязанностям руководителя компартии Украины в ее освобожденной столице. Тысячи людей гибли у него на глазах — от простых солдат до генералов. И Хрущев чувствовал себя обязанным не только оплакивать эти потери, но и пытаться их предотвратить.

Хрущев служил главным политическим комиссаром (после 1941 года название этой должности изменилось) на нескольких основных фронтах. Он присутствовал на военных советах, в которые входили командующий, начальник штаба и глава политотдела. Ответственность последнего была не меньше, чем двух первых: ни один приказ не отдавался без его подписи. На деле многие командиры предпочитали чисто формальное участие политруков в военных советах, настаивая на том, чтобы те поддерживали в войсках боевой дух, «выбивали» из московских властей снабжение и подкрепления, а в военные дела не лезли. Однако Хрущев стремился к активному участию в планировании операций, и, поскольку он был членом Политбюро, ему не решались возражать.

Он стал чем-то вроде посредника в отношениях между военным командованием на местах и властями в Москве. Сталин использовал его, чтобы держать военных на коротком поводке; военные — чтобы через него влиять на Сталина. В конечном счете отвечал Хрущев, разумеется, перед Сталиным — однако внутренне отождествлял себя с военными. Такое же восприятие, на советском бюрократическом жаргоне именовавшееся «местничеством», было характерно и для его работы в Киеве. Боевые генералы воспринимали его как своего: некоторые осмеливались даже замечать ему, что негоже отправлять солдат на смерть за землю, которая им, в сущности, не принадлежит¹³. С этим Хрущев спорил,

но с их негодованием по поводу губительных стратегических ошибок Москвы — соглашался.

Из всех коллег Хрущева по Политбюро схожие роли играли в армии только Жданов и Булганин — и оба не слишком хорошо с этим справлялись¹⁴. Остальные были весьма активны в Москве, но не на поле боя. Маленков управлял партаппаратом: он бывал на нескольких фронтах, в том числе и под Сталинградом, однако, как утверждает историк Дмитрий Волкогонов, «не оставил там никакого следа по причине полной некомпетентности в военных вопросах»¹⁵. Молотов занимал пост зампреда Государственного Комитета Обороны, вместе со Ставкой, Генштабом советских Вооруженных сил и Народным комиссариатом обороны следившего за общим ходом войны. Берия и Ворошилов, а позднее — Каганович, Микоян и молодой экономист Николай Вознесенский также были членами ГКО с правом посещать заседания Ставки.

Хрущев с трудом скрывал неприязнь к своим московским коллегам, когда они, приезжая на фронт с инспекцией, вынюхивали признаки нелояльности и отдавали высокомерные распоряжения ему самому и боевым генералам. Он считал их ничтожествами — как, впрочем, и все, кто сталкивался с ними в военные годы. «Всякий раз, когда я приходил в Кремль, — рассказывал начальник транспортного управления Иван Ковалев, — то заставлял в кабинете у Сталина Молотова, Берия и Маленкова. И всегда они были у меня как бельмо на глазу. Сидят, молчат, изредка что-то черкнут в блокноте. Сталин занимался делом — отдавал приказы, говорил по телефону, подписывал бумаги... а эта троица просто сидела и ничего не делала...»¹⁶

Война оставила в душе Хрущева глубокий след. На фронте он начал пить и курить; войне уделено огромное внимание в его мемуарах, однако даже в отставке он отказывался читать чужие воспоминания об этих годах¹⁷. Война прибавила к его коллекции несколько наград. В 1942 году в Москве, на церемонии по случаю 20-летней годовщины вступления Украины в СССР, отсутствующий Хрущев был провозглашен «большевистским вождем нашей армии, бьющей врага». 12 февраля 1943 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Военной формой Хрущев гордился: носил ее до конца войны, даже вернувшись к гражданским обязанностям. В том же году он получил ордена Суворова II степени и Кутузова II степени. На кадрах кинохроники того времени мы видим, как серьезно и торжественно он следит за процедурой награждения, а затем, получив орден, расплывается в широкой улыбке.

Эти ордена отражают участие Хрущева в победах под Сталинградом и на Курской дуге. Однако доля вины лежит на нем и за поражения под Киевом и Харьковом, где без особой необходимости погибли сотни тысяч советских солдат. Роль Хрущева в этих военных действиях была, конечно, не главной — но довольно значительной. Суждение Волкогонова, заявляющего, что «в военном плане Хрушев совершенно ничего из себя не представлял», возможно, и несправедливо: однако недавно обнаруженный документ 1930 года ясно свидетельствует о серьезных пробелах в его военной подготовке. Командир отряда запаса, в котором Хрушев проходил службу как политкомиссар, характеризует его подготовку, особенно в части тактики, всего лишь как «удовлетворительную», и добавляет: «*Нет системы* в мышлении по оценке обстановки и принятии решения» (выделено мной. — У. Т.)¹⁸.

Позже Хрушев рассказывал, что ему «[во время войны] не раз приходилось вступать в спор со Сталиным... и иногда удавалось переубедить его. Хотя Сталин метал при этом громы и молнии, я настойчиво продолжал доказывать, что надо поступить так-то, а не эдак... проходили часы, порою и дни, он возвращался к той же теме и соглашался»¹⁹. Возможно, так оно и было. В одном разговоре во время войны Сталин сетовал: «Что с вами говорить: вам что ни скажешь, вы все: “Да, товарищ Сталин”, “Конечно, товарищ Сталин”, “Совершенно правильно, товарищ Сталин”, “Вы приняли мудрое решение, товарищ Сталин”... Только вот один Жуков иногда спорит со мной...»²⁰ Жуков и Молотов в самом деле спорили со Сталиным; возможно, спорил и Хрушев — хотя бы для того, чтобы заслужить его уважение. Однако немало времени Хрушев тратил и на интриги и грубую лесть — забрасывал Сталина льстивыми докладами, восхвалял его при любой возможности, всеми правдами и неправдами старался как можно чаще попадать в поле зрения великого человека.

Не считая редких свиданий с женой и дочерью Радой, которые приезжали повидать его в Москву, с июня 1941-го до конца 1943 года Хрушев почти не виделся с семьей²¹. В этот период на семью Хрушевых обрушились три бедствия, несомненно, тяжело подействовавшие и на ее главу. Нина Петровна старалась не добавлять к заботам мужа своих горестей, однако скрыть от него происшедшее было невозможно — если бы Хрушев и не получал сведений в силу своего

служебного положения, жена не смогла бы утаить от него свое горе и смятение. Семейное несчастье, как можно предположить, особенно поразило Хрущева тем, что было связано с Леней — любимым старшим сыном, в котором он узнавал себя в молодости.

3 июля 1941 года семья Хрущева покинула Киев. Проведя несколько недель в Москве, они отправились в Куйбышев — место эвакуации советского правительства и дипломатического корпуса. Семейство включало в себя Нину Петровну, ее трех маленьких детей и двоих племянников, Нину и Васю. Шестилетний Сережа по-прежнему не ходил и передвигался в коляске. Он не вставал на ноги до конца 1942-го: болезнь привлекала к нему общее сочувственное внимание, и, по словам одного из родственников, пожелавшего остаться неназванным, это его «страшно избаловало». Вместе с Ниной Петровной ехали также Ксения Ивановна, мать Хрущева, и его сестра Ирина Сергеевна с дочерьми Ронной и Ирмой. В Москве к ним присоединились жена Леонида Люба и ее двое детей — полуторагодовалая Юля (в пути подхватившая дизентерию) и семилетний Толя. Уже в Куйбышеве семейство Хрущевых встретилось с родителями Нины Петровны, а по возвращении в Москву в 1944-м на ее плечи легла забота о Вите Писареве, племяннике первой жены Хрущева, и двоюродной племяннице самой Нины Петровны Зине Бондарчук. В общей сложности во время войны Нине Петровне приходилось думать и заботиться по меньшей мере о пятнадцати родственниках²².

Перед войной Леонид и Люба жили в московской квартире Хрущева, заказывали еду из кремлевской столовой и часто ходили в театр. О детях заботилась нанятая няня. Леня, в 1939 году поступивший на военную службу, учился управлять бомбардировщиком на военной базе под Подольском. В ночь с 21 на 22 июня в квартире у него, как часто случалось и до этого, ночевали несколько друзей-летчиков (и этот штрих тоже многое говорит о боеготовности Красной Армии). Ранним утром из Киева позвонил муж Ирины Сергеевны с известием, что немецкие самолеты бомбят город — и Леня с друзьями поспешил на аэродром.

Жизнь эвакуированных в Куйбышеве была вовсе не легкой. Писатель Илья Эренбург вспоминал пятидневное путешествие в вагоне пригородной электрички; по его словам, один спальный вагон занимали дипломаты, другой — члены Коминтерна²³. Семье Хрущевых пришлось дожидаться поезда два или три часа; правда, ехали они по первому классу, как вспоминала Люба, «словно в доме на колесах».

Куйбышев, сравнительно небольшой город, оказался битком набит эвакуированными; по воспоминаниям Василия Гроссмана, «было что-то странно привлекательное в сочетании тяжеловесной громоздкости госаппарата с кочевой жизнью эвакуации». Превратившись во временную столицу, Куйбышев обзавелся не только правительством и дипкорпусом, но и писателями, театрами, оперой и балетом. Гроссман пишет:

«Все эти тысячи московских людей ютились в комнатах, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами — заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро — представитель агентства “Юнайтед Пресс”, задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным, — леди Криппс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочки сахара в газетную бумагу, уносила с собой в номер; представители мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом»²⁴.

Поначалу Хрущевы, вместе с родственниками Маленкова, Ворошилова, Булганина и Семена Буденного, жили в специальном многоквартирном комплексе «Кремль-Восток», занимавшем целый квартал на берегу Волги. Семье Хрущева выделили квартиру из семи комнат, не считая отдельной трехкомнатной квартиры для Любы с детьми и Ирины Сергеевны с дочерьми. Позднее Нина Петровна и ее ближайшие родственники снимали пополам с родственниками Маленкова большую дачу в санатории Волжского военного округа. Неподалеку стоял просторный каменный дом

со множеством подземных комнат и коридоров; он был выстроен специально для Сталина, на случай падения Москвы. Когда немцы подошли к Сталинграду, семья Маленкова эвакуировалась в Свердловск; Нина Петровна, измученная заботами о большой семье, осталась на месте.

В это трудное время дом Хрущевых оставался безопасной пристанью. Дальние родственники всех сортов стремились прибиться к этой гавани и громко возмущались, когда им отказывали в гостеприимстве. Нина Петровна приняла в дом племянницу и племянника, однако отказала их родителям, своему брату и невестке. Да и сестру Хрущевапустила в дом лишь потому, что война не оставила выбора. По словам Любы, Нина Петровна смотрела на Ирину Сергеевну — простую деревенскую женщину — свысока, а та отвечала ей понятной неприязнью. Дочь Ирины Сергеевны Рона добавляет к этому: «Никита Сергеевич мою мать просто не замечал. Никогда не прошу ни ему, ни Нине Петровне. Такое их отношение прежде времени свело мою мать в могилу»²⁵.

Сара Бабенышева, знавшая Ирину Сергеевну в эвакуации, вспоминает ее как среднего роста, смуглую, говорливую женщину, постоянно жаловавшуюся на родных. Хрущев настоял на том, чтобы сестра учила дочь играть на фортепьяно, и оплачивал ей уроки — сто рублей в месяц. «Ничего он в жизни не понимает, — возмущалась Ирина Сергеевна. — Не знает даже, что за такие деньги и хлеба на рынке не купишь. Да и откуда ему знать? Им-то все на дом доставляется, а нам достаются объедки... Только поглядите, какую харю себе разъезла! — продолжала Ирина Сергеевна, имея в виду невестку. — Свинья свиной! А ноги? Ноги у нее вот такушие!» — и широко разводила руками²⁶.

Ксения Ивановна тоже не любила невестку. Мать Хрущева хворала и много времени проводила в больницах. Она очень привязалась к Любе, когда они с Ириной Сергеевной получили отдельную квартиру, переехала вместе с ними, вела с ней бесконечные разговоры о сыне, но почти никогда — о муже, которого называла «дурнем». Племянница Нины Петровны Нина Кухарчук, носившая матери Хрущева обеды, вспоминает, как та ворчала: «Неужели и умирать придется в этом гадюшнике? Ну зачем тебе понадобилось лезть в это болото?»

Пока маленький Сергей не встал на ноги, коляску с ним приходилось спускать вниз и заносить вверх на четвертый этаж. «Когда Сереже давали кушать, он мог сначала лизнуть еду, чтобы понять, нравится ему или нет, — и, если не нра-

вилось, наотрез отказывался есть», — рассказывает один из членов семьи. Сережа доставлял Нине Петровне больше всего хлопот, но хватало ей огорчений и с другими детьми и внуками. Однажды Люба повела маленькую Юлю гулять. «Юлечке захотелось по-большому, — вспоминает Люба, — а туалетной бумаги у меня с собой не было, и пришлось вытереть ей попку листом “Правды”. Когда я вернулась домой с порванной газетой, Нина Петровна так на меня и накинулась: как я могла! Это же некультурно! Ну я, конечно, молчать не стала».

Но, как и прежде, самые серьезные огорчения доставил семье Леонид. До войны его успехи и в учебе, и по службе были как минимум неровными. Закончив семилетку и пройдя короткие вечерние курсы, в 1933 году он последовал по стопам отца — поступил на металлургический завод. Затем начал учиться летному делу, но не в престижной московской военно-воздушной академии, где обучались дети элиты, а в Балашовской школе гражданской авиации. Оттуда в 1937 году был переведен в другую школу, в Ульяновск, по окончании которой работал инструктором в авиаклубах Москвы и Киева. Леня вступил в комсомол и стал активистом, хотя и в Балашове, и после получал выговоры за «безответственность и пьянство», а также за неуплату членских взносов. В партию сын Хрущева так и не вступил. Однако, несмотря на все это, в июле 1939 года, поступив в армию, он был в чине младшего лейтенанта прикомандирован к 134-й группе бомбардировщиков²⁷.

В дипломе, полученном Леонидом 21 мая 1940 года в Училище гражданской авиации имени Энгельса, его летный талант превозносится до небес. В первые же полтора месяца войны он сделал двадцать семь вылетов, по большей части без прикрытия. В рапорте от 16 июля 1941 года его представляют к награде, ордену Красного Знамени: этот «смелый, бесстрашный летчик», говорится в документе, 6 июля выдержал воздушный бой. Самолет его был изрешечен пулями, однако он быстро вернулся в строй, чтобы заменить погибших товарищей²⁸.

Даже если Леонид в самом деле был «летчиком от Бога» (по словам его вдовы), понятно, что к нему, как к сыну Хрущева, относились по-особому. Рапорт командования от 9 января 1942 года характеризует его как «опытного боевого летчика», которого можно назвать «хорошим сыном своего отца»²⁹. Некоторые его вылеты были описаны в прессе: в заметке «Правды» мы видим фотоснимок блестящего молодого летчика, широко улыбающегося в камеру³⁰. Когда сына

представили к ордену, Хрущев послал ему телеграмму: «Рад за тебя и твоих боевых товарищей. Так держать, сынок! Поздравляю с успехами в боях. Бей немецких ублюдков днем и ночью. Твой отец Н. Хрущев». Примерно в это время, как сообщают, Хрущев говорил: «Наши ребята храбро дерутся. За это я Лене все прощаю»³¹.

26 июля 1941 года самолет Леонида был атакован немецкими истребителями: он потерпел крушение, и Леонид при падении сломал ногу. Несколько месяцев — до марта 1942-го — он провел в больнице. Хотя в результате травмы одна нога у него стала короче другой (на кадрах кинохроники 1942 года мы видим, что он опирается на трость), он был намерен вернуться в строй. Но тут разразился скандал, столь тяжелый и безобразный, что в семье он на долгие десятилетия сделался запретной темой.

Самолет Леонида потерпел крушение под Москвой (по рассказу друга семьи, врач в полевом госпитале хотел ампутировать ногу, но Ленья отогнал его, угрожая пистолетом)³², но лечился в Куйбышеве, где жила семья. Это, разумеется, была привилегия, не всем доступная. Леонид жестоко страдал — не только от раны, но и от вынужденного безделья. Едва встав на костыли, он сделался неразлучен с Рубеном Ибаррури (сыном Долорес Ибаррури, знаменитой героини гражданской войны в Испании), лечившимся там же.

На военном снимке из фотоальбома Любы мы видим шутиливую сцену: Леонид в кожаной куртке, с сигаретой в зубах, широко улыбаясь, приставляет к голове Ибаррури маленький пистолетик (или, возможно, зажигалку в форме пистолета). Несколько раз Люба видела, как друзья выстрелами сбивали с голов друг друга винные бутылки или бокалы — трюк, которому Леонид научился в Москве, доведя его до совершенства. В Куйбышеве, в большой компании, когда какой-то пьяный моряк усомнился в его меткости, Леонид поставил ему на голову бутылку и первым же выстрелом отбил горлышко. Но моряк настаивал, чтобы Леонид выстрелил в саму бутылку. Во второй раз Леонид промахнулся — попал моряку в лицо и убил наповал³³.

Его отдали под суд, однако в штрафбат не отправили, а разрешили пройти обучение в качестве пилота истребителя³⁴. Летный экзамен он сдал в ноябре 1942 года с оценкой «хорошо» (но не «отлично», которую он получил как пилот бомбардировщика), однако поначалу командиры не разрешали ему участвовать в боях, полагая, что он не вполне к этому готов. Когда они наконец смягчились, Леонид, как позже писал Хрущеву-старшему командир Первой военно-воздушной

эскадрильи генерал Иван Худяков, «атаковывал врага смело, преследовал неотступно», а позже «буквально ликовал, вспоминая подробности схватки и бегство “фрица”»³⁵.

11 марта 1943 года, около полудня, лейтенант Хрущев и восемь других пилотов вылетели с Калужского аэродрома. Цель их была — защищать наступающие советские части от вражеских бомбардировщиков. Завидев немецкие истребители, советские самолеты разделились на три группы: Леонид и лейтенант Заморин бросились на два вражеских самолета и погнали их обратно, на оккупированную территорию. Заморину удалось сбить один самолет; Леонид держался справа, прикрывая ему тыл. Когда другой немец начал стрелять в Хрущева, Заморин увидел, как Леонид поворачивает и под крутым углом ныряет вниз. Позже он докладывал, что Хрущеву удалось оторваться от врага; однако на аэродром Леонид не вернулся.

«Мы организовали тщательный поиск, как с воздуха, так и на земле, силами местных партизан, — писал Никите Хрущеву генерал Худяков, — но безрезультатно. Целый месяц мы не теряли надежды... однако обстоятельства и само прошедшее время заставляют прийти к печальному заключению — ваш сын, старший лейтенант Леонид Никитич Хрущев, погиб смертью храбрых в бою с немецкими захватчиками».

«Леонид был пилотом и погиб в бою, — пишет Хрущев в своих мемуарах. — Была война, и много хороших людей гибло, как всегда бывает на войне»³⁶. На более чем двух тысячах страниц полного текста воспоминаний Леонид упоминается лишь дважды. Фотография сына позже висела на стене семейной гостиной, но Хрущев редко о нем упоминал. Даже после того как территория, где погиб Леонид, перешла под контроль советских войск, тщательные поиски на месте крушения не проводились. Такой поиск был организован лишь в 1960 году — но и он не помог узнать ничего нового о судьбе Леонида Хрущева.

Загадочная смерть, естественно, не могла не породить слухов. Рассказывали, что Леонид выжил, попал в плен и согласился сотрудничать с немцами, но Сталин якобы приказал советским десантникам выкрасть его и казнить, что и было исполнено. Не забывали упомянуть и о том, что Никита Хрущев якобы на коленях молил Сталина сохранить сыну жизнь, но тот ему отказал. Этим авторы слухов и объясняли то, что Хрущев впоследствии пошел против Сталина³⁷. Молотов позднее настаивал, что сын Хрущева был «вроде изменника», что Сталин «не захотел его помиловать» и Хрущев за это «лично ненавидел Сталина»³⁸. Как будто у Хрущева не

могло быть для этого других причин! Если бы немцы взяли в плен сына Хрущева, разумеется, они раструбили бы об этом повсюду — как и произошло, когда в руки к ним попал сын Сталина Яков. Историки, изучая протоколы допросов советских военнопленных, не нашли в них упоминаний о Леониде Хрущеве³⁹. Лейтенант Заморин позже признался, что видел, как самолет Леонида развалился в воздухе, но не сообщил об этом сразу — возможно, из боязни нести ответственность за смерть сына члена Политбюро⁴⁰.

Почему же Хрущев как будто боялся вспоминать о сыне? Возможно, ответ прост: думать о таких вещах слишком больно. И трудно сказать, какие воспоминания были больнее — о гибели Леонида или о его нескладной, бесшабашной жизни.

Судьба вдовы Леонида и ее сына также сложилась трагично. Когда муж погиб, Люба работала в Институте иностранных языков, эвакуированном из Москвы в не слишком далекий от Куйбышева Ставрополь. Когда она получила страшное известие, Волга уже замерзла; поскольку из Куйбышева в Ставрополь и обратно обычно добирались на пароме, она вместе с подругой отправилась в путь пешком — через реку, по льду. А на следующий день вместе с Ниной Петровной вылетела в Москву, чтобы встретиться с Хрущевым.

Вера Чернецкая, дочь советского композитора и жена француза, работавшего во французском посольстве в Куйбышеве, убедила Любу изучать французский язык. Чернецкая с мужем жили в гостинице, где часто бывали Ленья и Люба. Дружба с иностранцами (не говоря уж о браке с иностранцем) была опасна даже во время войны, когда ослабили многие ограничения. После возвращения Леонида на фронт Люба однажды позволила себе сходить в театр с французским военным атташе (по ее воспоминаниям, «необыкновенно привлекательным мужчиной»)⁴¹.

Дети Любы жили в Куйбышеве, Толя — с Ириной Сергеевной, Юля — с Ниной Петровной. Однажды, в жаркий день июня 1943 года (такой жаркий, что асфальт плавился под ногами, вспоминает Толя), она взяла сына, села с ним на паром, добралась до Ставрополя и прошла пешком несколько километров до бывшего санатория в лесу, где теперь размещался Институт иностранных языков. Толю она оставила у своей преподавательницы, а сама поселилась в общежитии.

Но вскоре Любу арестовали. Сама она полагала, что ее оклеветал начальник службы безопасности Хрущева, оби-

женный пренебрежением, которое проявляли к нему они с Леонидом. Двое агентов НКВД отконвоировали ее на поезде в Москву и, конфисковав все наличные вещи, включая дорогие часы — подарок мужа, заперли в камере с двумя другими женщинами, в которых она сразу определила «подсадных уток». Поначалу она думала, что произошла какая-то ошибка — однако поняла, что все гораздо серьезнее, после первого же допроса у Виктора Абакумова, заместителя главы НКВД и главы СМЕРШа⁴².

Абакумов умел добывать нужные признания. Позднее Люба узнала, что одному из родственников Веры Чернецкой он на допросе выбил зуб. Однако с Любой высокий, широкоплечий, черноволосый Абакумов держался дружелюбно, почти галантно. Он ни в чем ее не обвинял. «Не говорил, что я шпионка, — рассказывала Люба, — сказал только, что, по его сведениям, я ходила в театр с французским военным атташе и он передал мне какую-то бумагу». Люба отказалась давать показания, «потому что и говорить-то было не о чем». «Может быть, вы просто не хотите говорить? — с улыбкой спросил Абакумов. — Может быть, могли бы кое-что рассказать, если бы захотели?» Затем пригрозил, что переведет ее в Лефортовскую тюрьму. «Там не так, как у нас, — говорил он, — это страшное место. Там полно крыс, и вы там скоро без зубов останетесь». Но Люба отказалась признаваться в преступлениях, в которых ее даже не обвиняли. На следующих допросах другой следователь кричал на нее и угрожал избить, если она не признается. Восемь месяцев ей почти не давали спать (известная лубянская технология «конвейера»), два месяца продержали в одиночной камере в Бутырке, а затем приговорили к пяти годам лагерей.

В мордовском лагере Люба работала на лесоповале, пока не попала в больницу. Выздоровев, она осталась в лагерной больнице в качестве медсестры и санитарки и трудилась там, пока снова не заболела. Болезнь была тяжелейшей: Люба потеряла около двадцати восьми килограммов, перенесла преждевременный климакс и почти ослепла на один глаз. Однажды, лежа в бреду на больничной кровати, она увидела, что летит верхом на лебеде, и услышала голос Никиты Хрущева: «Освободите Любу!» Позже ей пришла анонимная посылка с парой сапог, телогрейкой, ушанкой и другой необходимой одеждой. Люба полагала, что посылку прислала Ирина Сергеевна — она и раньше присылала ей кое-какие вещи, а от Никиты Сергеевича и Нины Петровны Люба так ничего и не получила.

Выйдя на свободу в 1948 году, Люба еще пять лет прожила в ссылке в Казахстане, где нашла себе работу в геологической экспедиции и постоянно отказывалась от предложений о сотрудничестве с НКВД. В Караганде она оставалась, пока Сталина не сменил Хрущев — отчасти из-за того, что произошло, когда в 1954 году она приехала в Москву. Хрущев тогда не позволил ей увидеться с четырнадцатилетней Юлией, которую Хрущевы удочерили и которая считала Никиту Сергеевича и Нину Петровну своими родителями. Однако Нина Петровна, по-видимому, не желала лишать внучку родной матери и позже, когда Юля сдала вступительные экзамены в университет, открыла ей правду⁴³. В 1956 году, выбрав момент, когда Хрущева не было в Москве, Нина Петровна устроила Любе свидание с Юлей. «Да ты — вылитый Леня!» — воскликнула Люба. Нина Петровна уговаривала ее остаться, но Люба отказалась, чувствуя, что она здесь лишняя. Позже, уже в отставке, Хрущев несколько раз разговаривал с невесткой по телефону, но никогда не заговаривал о ней с родными и всего раз встретился с ней.

Возможно, Хрущев боялся потерять Юлю. Люба подозревала также, что он верил в обвинения НКВД. «Должно быть, ему много плохого наговорили о ней», — предполагала Юлия. Она добавляла также, что ни Никита Сергеевич, ни Нина Петровна не обнимали ее так горячо, как мать при встрече в 1956 году. Собственно говоря, они вообще ее не обнимали. «Такой уж человек была Нина Петровна. Сама холодная по натуре, и меня не научила проявлять любовь и доброту».

Люба была не единственной арестованной родственницей члена Политбюро. Жена Молотова, жена Калинина, брат Кагановича — никого из них не смогли защитить могущественные родственники. Нельзя винить Хрущева за то, что он не вытащил Любу из тюрьмы. Но почему затаил на нее обиду? Возможно, дело было не в надуманных обвинениях, а в неприемлемом для него поведении невестки. Жизнерадостная, бесстрашная, умевшая наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, Люба была очень похожа на своего мужа; и Толя, которому в 1943 году исполнилось девять, хотя и не был Лениным сыном, удивительно походил на него по характеру.

«Я был из тех, кто ни на чем не способен сосредоточиться, — рассказывает Толя. — Вечно был в движении, вечно куда-то рвался и чего-то хотел. Когда приехал Леня, он привез с собой чудесный пилотский шлем: я тут же завладел

этим шлемом и катался в нем с горки. А однажды прицепился к машине и проехался за ней по обледеневшей дороге. Леня не возражал, но мама очень сердилась. У Лени был ящик с огнестрельным оружием и патронами. Его держали закрытым, но однажды, когда мама с Леной были в театре, я сумел его открыть, достал пистолет и отправился играть с приятелем — сыном хрущевского шофера, который жил в подвале нашего дома. Я принес с собой обойму, и он уговорил меня пострелять. Первой же пулей я разбил окно, и вся комната наполнилась дымом. Мы так испугались, что спрятались под одеяло — на случай, если кто-нибудь войдет. На следующий день, когда Леня стал меня расспрашивать, я сначала говорил, что ничего не знаю, но скоро во всем признался. Леня поставил меня в угол, но потом простил. А в другой раз я выкинул из окна бутылку и чуть не попал в Вышинского, который как раз проходил через двор».

Прямое попадание в голову знаменитому сталинскому обвинителю, возможно, принесло бы Анатолию славу — но попытка придушить собаку шелковым шарфом, который подарила ему Ирина Сергеевна, славы определенно не принесла. Особенно когда пес вырвался и убежал с дорогим подарком в зубах. В первом классе Толя был выше всех, но очень неуклюж; товарищи постоянно его дразнили, и Люба забрала его из школы и наняла гувернантку — пожилую даму, в характере которой дореволюционная интеллигентность сочеталась со сверхъестественной строгостью. Мать Никиты Хрущева обожала Толю⁴⁴, а Маленковы на него жаловались. Нина Кухарчук вспоминает, как Толя мочился в раковину и Нина Петровна кричала: «Он развратит моих девочек!» Как только Люба с детьми переехала в отдельную квартиру, встречи Толи с остальными Хрущевыми почти прекратились. «Я как будто выпал из семьи», — вспоминал он.

Когда мать арестовали, Толе сказали только, что она «уехала». В то же утро один из работников института отвез его в Ставрополь и поместил в детский дом. Детские дома сталинской эпохи были ужасны и в мирное время, в войну же превратились в настоящий ад. О Любе, о сестре, о прочих куйбышевских родственниках Толе ничего не говорили. «Все они меня бросили», — думал мальчик. Месяц спустя он убежал из приюта, доплыл на пароходке до Куйбышева и — грязный, обовшивевший, покрытый сыпью — объявился на пороге Ирины Сергеевны. Бывшая гувернантка лечила его, добывая лекарства из специальной кремлевской клиники. Однако скоро Нина Петровна, сказав лишь, что мать Толи уехала в Москву по делам, снова сдала его в детдом.

С собой Нина Петровна дала Толе колбасы. Питание в детдоме было столь мизерным (300 граммов хлеба в день), что дети подогревали на печи и пытались есть костяные пуговицы. Директор детского дома некоторое время позволял Толе есть колбасу тайком, но его собственные дети смотрели на Толю такими голодными глазами, что в конце концов он не выдержал и отдал остаток им.

Дети Толиного возраста посещали школу — это дало Толе возможность снова сбежать. Он воровал пирожки на вокзале, просил милостыню на рынке. В феврале 1944 года Толя снова вернулся в Куйбышев — и узнал, что Хрущевы уже в Москве. Чтобы раздобыть денег на билет, Толя украл набор столовой посуды и попытался его продать, но был пойман и снова водворен в детский дом. Еще несколько неудачных побегов — и детдом от него избавился, отправив в Ленинград, в военно-морское училище.

Продолжение его истории еще печальнее. На медосмотре в училище у Толи были выявлены проблемы с сердцем, так что его отправили в Кронштадт, на лакокрасочную фабрику под патронажем ВМФ, несовершеннолетние работники которой дышали ядовитыми лаками и ели клей, пытаясь этим восполнить свой скудный рацион. Толя решил бежать в Москву: ночью он перешел по льду Финский залив, сел на поезд, но там был обнаружен и снова отправлен в детский дом — теперь в Псков. Отсюда он тоже сбежал, затем сбежал из еще одного детдома — в Вологде, в конце концов добрался до Москвы, но на Курском вокзале снова был пойман милицией. Опять сбежал, отправился на Украину. В Киеве жил в вентиляционной шахте на вокзале. Снова попался милиции, был отправлен в исправительную колонию, откуда убегал трижды. Наконец, опасаясь нового ареста и тюрьмы, нашел себе работу, а в 1952 году пошел служить в армию.

В 1955-м, вернувшись в Москву, Толя сумел разыскать свою сестру по матери Юлию. За эти годы она превратилась в элегантную, хорошо воспитанную девушку из привилегированной семьи; рядом с ней Толе было тяжело и неловко, он с особой силой ощущал свою ущербность. Поэтому он вернулся в Киев, где в конце концов разыскала его мать.

Пытался ли он наладить контакт с семьей Хрущевых? — спросил я у Анатолия. «Нет, — угрюмо ответил он. — Я их забыл. Мне ничего от них не нужно было. Они меня не интересовали. Они для меня перестали существовать. Эти люди сдали меня в детдом».

Знал ли Никита Хрущев о судьбе Толи — неизвестно. Возможно, лучше ему было и не знать.

Вскоре после нападения Гитлера, когда стал ясен истинный масштаб катастрофы, у Сталина сдали нервы. «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это про...али», — говорил он Молотову и Берии. На несколько дней Сталин заперся в одиночестве у себя на даче. 29 июня, когда коллеги приехали убедить его вернуться на пост, он испугался, словно ожидал, что его арестуют. Позднее, уже в июле, Хрущев встретился с ним в Ставке, в бомбоубежище, глубоко под станцией метро «Кировская»: «Он был совершенно неузнаваем. Таким выглядел апатичным, вялым. А глаза у него были, я бы сказал, жалкие какие-то, просящие... Помню, тогда на меня очень сильное и неприятное впечатление произвело поведение Сталина»⁴⁵.

Пока Сталин боролся со своими страхами, Хрущев и его коллеги сражались за Киев. Недолгая оборона и неизбежное падение города, сопровождавшееся ужасающими потерями с советской стороны, стали для Хрущева первым кризисом войны.

29 июля начальник Генерального штаба Жуков расстелил карты на длинном, обитом зеленым сукном столе в просторном кремлевском кабинете Сталина. Жуков предполагал, что немцы намерены отложить наступление на Москву и сперва ударить по «слабейшему и опаснейшему сектору» — в центральном и южном направлениях. Если такое случится, сурово продолжал Жуков, «Киев придется оставить».

— Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? — возмутился Сталин⁴⁶.

— Если вы считаете, что начальник Генерального штаба способен только чепуху молоть, — ответил, как рассказывал позднее, Жуков, — тогда ему здесь делать нечего.

Сталин принял отставку Жукова и приказал удерживать Киев до последней возможности⁴⁷. 10 сентября, когда большая группа немецких танков глубоко вклинилась в позиции Юго-Западного фронта, генерал-майор Василий Тупиков заключил, что, «если мы не отступим немедленно, катастрофа будет неминуема»⁴⁸. Сталин отступать запретил. Тупиков предупреждал о «катастрофе», которая «разразится через пару дней» — но в ответ получал лишь обвинения в «паникерстве» и требования выполнять приказ.

Тимошенко был так встревожен, что 15 сентября совместно с Хрущевым отдал устный приказ отступать *без* позволения Сталина. Однако, когда командир Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос, испугавшись, снова связался со Сталиным, он получил противоречивый приказ: «Оставить

Киев, но ни при каких обстоятельствах не выходить из окружения»⁴⁹.

Через сутки Киев пал. Кирпонос, Тупиков и бывший заместитель Хрущева в украинской компартии Михаил Бурмистенко, теперь выполнявший роль комиссара Юго-Западного фронта, погибли. Немцы похвалялись, что захватили в плен 655 тысяч человек; согласно сведениям русских, лишь 150 тысяч 541 из 677 тысяч 085 солдат сумели выбраться из ловушки. В тот момент, когда Хрущеву и его подчиненным не оставалось ничего, кроме как покинуть Киев, пришла телеграмма от Сталина, «в которой он несправедливо обвинял нас в трусости и угрожал, что “будут приняты меры”». Обвинял в том, что мы намереваемся сдать врагу Киев»⁵⁰. Однако арестовывать Хрущева Сталин не стал — лишь полностью игнорировал его во время его следующего приезда в Москву, предоставив распекать Хрущева заместителю председателя правительства Николаю Вознесенскому⁵¹.

Этот опыт прочно впечатался в память Хрущева. Однако, если верить Жукову, и самого Хрущева было в чем винить. Когда в августе Жуков пытался уговорить Сталина отступить, тот ответил, что «только что вновь посоветовался с Н. С. Хрущевым и он убедил его, что Киев ни при каких обстоятельствах оставлять не следует»⁵².

Свидетельство Жукова можно поставить под сомнение — ведь именно Хрущев в 1957 году опозорил его и уволил. Однако вполне возможно, что Хрущев поначалу в самом деле клялся отстоять Киев — лишь бы не говорить того, что будет неприятно слышать вождю. Угодливость приближенных Сталина шла во вред им самим: позже, когда они пытались переубедить вождя, он не желал их слушать, а затем возлагал на них вину за неудачи.

По тому же сценарию развивалось самоубийственное контрнаступление под Харьковом в мае 1942 года. Осенью 1941-го опасность угрожала самой Москве: 28 ноября немецкие войска находились менее чем в тридцати километрах от Кремля. Однако советским войскам удалось перейти в контрнаступление и отбросить врага от Москвы⁵³. «Не сидеть же нам в обороне сложа руки, не ждать, пока немцы нанесут удар первыми! — заявил Сталин в марте 1942-го на заседании ГКО. — Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте...»⁵⁴ Об этом он говорил еще зимой, но тогда офицерам Генштаба удалось уговорить его отложить эти преждевременные планы. Борис Шапошников,

бывший офицер царской армии, сменивший Жукова на посту начальника Генштаба, предлагал придерживаться «оборонительной тактики», по крайней мере до начала лета. Однако у Юго-Западного фронта, где командовал Тимошенко, начальником штаба был Баграмян, а главой политотдела — Хрущев, обнаружились свои грандиозные планы.

Тимошенко и Хрущев намеревались разбить немецкую группу армий «Юг» и выстроить новую линию фронта — от белорусского города Гомеля через Киев до черноморского Николаева. Предполагалось, что девяносто две советские дивизии обрушатся на шестьдесят четыре немецких — такого соотношения было достаточно, чтобы чуть ли не гарантировать победу. У Баграмяна имелись некоторые сомнения, однако Хрущев и Тимошенко не сомневались, что Москва одобрит их план, и Баграмян держал свои тревоги при себе⁵⁵.

Генеральный штаб тоже был против. Однако после того, как Тимошенко, Хрущев и Баграмян изложили план Сталину, он его одобрил (правда, в урезанном виде — предложил для начала отбить у немцев один Харьков) и пригласил их на ужин⁵⁶.

Начались приготовления к контрнаступлению. Под командованием Тимошенко находились 640 тысяч человек, 1200 танков, 13 тысяч орудий и пулеметов, 926 самолетов. В начале мая Хрущев и Баграмян посетили прифронтовые части, остановившись в деревне, которую в 1919 году части Красной Армии, где служил Хрущев, отбили у белых. Никто не подозревал, что гитлеровцы разгадали план советских военачальников и готовят им ловушку⁵⁷.

Советское наступление началось 12 мая. Поначалу командование Юго-Западной группы войск доносило, что им удалось прорвать немецкие линии обороны к северу и к югу от Харькова. Доклад от 15 мая источал оптимизм. Сталин радовался удаче и писал заместителю начальника Генштаба Александру Василевскому, что «сурово упрекал Генштаб за его нерешительность, едва не заставившую меня отменить столь успешную операцию»⁵⁸.

Два дня спустя ситуация кардинально изменилась. Войска Тимошенко сгрудились в районе Барвенково, оставив открытыми фланги. В три часа утра 17 мая немцы напали на их южный фланг — и к полудню уже прорвали позиции, удерживаемые Девятой армией. В то же время другие немецкие части начали наступление с севера, зажав русских в гигантские клещи. Советским войскам грозило окружение⁵⁹.

Василевский настаивал на том, чтобы немедленно остановить наступление; однако Сталин, переговорив с Тимошенко, отказался⁶⁰. В тот же день Тимошенко и Хрущев от-

правили Сталину доклад на двух страницах, озаглавленный: «Успешное наступление Юго-Западного фронта на Харьковском театре военных действий». Дальше шло перечисление военной добычи, захваченной с 12 по 16 мая⁶¹.

18 мая командование армии решило приостановить наступление, однако из Москвы пришел приказ продолжать. В три часа утра, когда Хрущев уже ложился спать, явился Баграмян с дурными вестями. «Я очень прошу вас лично поговорить со Сталиным, — заключил он. — Единственная возможность спастись, если вам удастся убедить товарища Сталина утвердить наш приказ и отменить указание об отмене нашего приказа и о продолжении операции».

Хрущев позвонил в Генеральный штаб. Ему ответил Василевский. «Александр Михайлович, — сказал ему Хрущев, — вы знаете по штабным картам и расположение наших войск, и концентрацию войск другой стороны, более конкретно представляете себе, какая сложилась у нас сейчас обстановка. Конкретнее, чем ее представляет товарищ Сталин. Пожалуйста... объясните товарищу Сталину, что произойдет, если мы будем продолжать операцию».

— Товарищ Сталин сейчас на Ближней даче, — отвечал Василевский.

— Вы поезжайте туда, он вас всегда примет... Вы с картой поезжайте... Сталин увидит конфигурацию расположения войск, концентрацию сил противника и поймет, что мы поступили совершенно разумно, отдав приказ о приостановке наступления.

— Нет, товарищ Хрущев, нет, товарищ Сталин уже отдал распоряжение.

Хрущев бросил трубку. Потом позвонил снова — но Василевский стоял на своем. Хрущеву оставалась одна надежда — поговорить с самим Сталиным. «Очень опасный был для меня момент, — рассказывал он позднее. — В то время Сталин уже начинал рассматривать себя таким, знаете ли, военным стратегом». Хрущев позвонил на дачу Сталина, трубку снял Маленков. «Я знал, что Сталин находится на Ближней даче, — рассказывает Хрущев, — хорошо знал ее расположение. Знал, что и где стоит и даже кто и где сидит. Знал, где стоит столик с телефонами, сколько шагов надо пройти Сталину, чтобы подойти к телефону». Но Сталин не стал с ним разговаривать. «Товарищ Сталин сказал, что надо наступать, а не останавливать наступление, — ответил, вернувшись к телефону, Маленков. — Товарищ Сталин говорит, что ты... навязал [решение о приостановке наступления] командующему. Это было [только] твое предложение».

Когда Хрущев повесил трубку, у Баграмяна, стоявшего рядом, «слезы из глаз покатились. Его нервы не выдержали, вот он и расплакался. Он переживал за наши войска, за нашу неудачу»⁶².

Рассказ Хрущева производит поистине страшное впечатление. Но насколько он точен? Если верить Жукову, 18 мая Сталин был озабочен ситуацией. Однако Тимошенко по-прежнему преуменьшал опасность, а Хрущев «поддержал мнение Тимошенко». Уверения Хрущева, что он пытался предупредить Сталина, «не соответствуют действительности, — писал позднее Жуков. — Я это свидетельствую потому, что лично присутствовал при переговорах И. В. Сталина по ВЧ с Н. С. Хрущевым»⁶³.

Советский «Военно-исторический журнал» цитирует три послания Хрущева Сталину (два из них отправлены им и Тимошенко в 17.30 17 мая и 12.30 19 мая соответственно и еще одно, личное, в 2.00 19 мая): ни в одном из них нет и речи об остановке наступления⁶⁴. Однако Хрущев пишет, что звонил, а не писал (доступа к расшифровкам телефонных разговоров у редакции журнала не было), а Баграмян и Василевский, опубликовавшие свои мемуары уже после отставки Хрущева, отчасти подтверждают его версию. Баграмян рассказывает, что на продолжении наступления настаивал Тимошенко, а Хрущев пытался его отговорить. Василевский вспоминает, как Хрущев позвонил ему девятнадцатого, сообщив, что Сталин «отказался останавливать наступление, и попросил меня еще раз поставить этот вопрос перед Верховным Главнокомандующим». Кроме того, Василевский подтверждает рассказ Хрущева о том, что «разговор с Верховным Главнокомандующим происходил через Г. М. Маленкова и прежнее решение о продолжении наступления было подтверждено»⁶⁵.

Истина в том, что в харьковском разгроме виноваты все: Хрущев и его единомышленники навязали свою идею Сталину, а потом свалили всю вину на него, Сталин без критики принял их план и отказывался его пересмотреть, а Генштаб не осмелился вовремя указать Сталину на губительность наступления. За просчеты военачальников армия заплатила страшную цену: 267 тысяч человек погибли, более 200 тысяч были взяты в плен⁶⁶. К тому же, добавляет Василевский, именно победа под Харьковом дала немцам возможность прорваться к Сталинграду и на Кавказ⁶⁷.

Хрущев, разумеется, заплатил неизмеримо меньшую цену — хотя Сталин, по своему обыкновению, не упустил случая отыграться на нем. Сместив Баграмяна и Тимошенко,

он полностью распустил юго-западный сектор командования и вызвал Хрущева в Москву. «У меня было очень подавленное настроение, — рассказывает Хрущев. — Мы потеряли много тысяч солдат, утратили надежду, которой жили...» А главное — Хрущева снедала тревога за будущее. Ибо Сталин «на все пойдет, но никогда не признает, что допустил ошибку. Поэтому... я морально был подготовлен ко всему, не исключая и ареста».

Несколько дней Сталин играл со своей жертвой как кошка с мышью. Немцы заявляют, что захватили более двухсот тысяч пленных, — может быть, врут? «Нет, товарищ Сталин, не врут», — отвечал Хрущев. Во время Первой мировой войны, продолжал Сталин, когда один царский генерал отдал армию прямо в руки немцам, его за это повесили. «Товарищ Сталин, помню этот случай», — отвечал Хрущев.

Несколько дней продолжалась томительная неизвестность; Хрущев старался сохранять хорошую мину при плохой игре. Сталин чередовал замаскированные угрозы с практическими вопросами о том, как же теперь защитить Донбасс. Чем дольше Хрущев оставался в Москве, «тем более томительно тянулось время, которое должно было чем-то кончиться для меня лично. Думал, что Сталин не пройдет мимо такой катастрофы... не простит и захочет найти козла отпущения, продемонстрировав свою неумолимость, принципиальность и твердость... Я даже догадывался, исходя из прежнего опыта, как Сталин может формулировать. Он был большой мастер на такие формулировки».

К неизмеримому облегчению Хрущева, ему было разрешено вернуться на фронт. Но прощение тирана могло быть и ловушкой: Хрущев «знал случаи, когда Сталин ободрял людей, они выходили из его кабинета, но тут же отправлялись совсем не туда, куда следовало, а туда, куда Сталин указывал тем, кто этим делом занимался и хватал их. Я вышел. Ничего. Переночевал. Наутро улетел и вернулся на фронт»⁶⁸.

Но гнев Сталина еще не утих. Тем же летом, в присутствии нескольких командиров, он выбил о лысую макушку Хрущева свою знаменитую трубку. «Это римский обычай, — объяснил Сталин потрясенным зрителям. — Когда в Древнем Риме командир проигрывал битву, он садился на кострище и посыпал себе голову пеплом. В те времена это был для военного самый страшный позор»⁶⁹.

В отличие от Баграмяна и Тимошенко, Хрущев даже не был уволен: вместо этого он получил назначение в Военный совет Сталинградского фронта. Однако он чувствовал себя

глубоко униженным («Я недостаточно разбираюсь в военных вопросах, — отвечал он, когда его просили походатайствовать в Москве об улучшении снабжения армии, — боюсь, мне не удастся ни в чем убедить Ставку»)⁷⁰, и время не излечило его боль. «И сейчас, — писал он в отставке, — я все еще обдумываю события того лично для меня самого тяжелого времени, поворотного для положения дел в 1942 году»⁷¹. По словам его дочери Рады, «его это мучило до конца его дней»⁷². Если бы Сталин послушался его предупреждений! Если бы на месте Василевского был более смелый Жуков!⁷³ Однако собственную вину Хрущев так никогда и не признал — по крайней мере, не признал открыто⁷⁴.

В 1942 году Гитлер рассчитывал захватить южные районы Советского Союза, включая жизненно важные кавказские нефтяные скважины, а затем вновь повернуть на север — к Москве. В Ставке понимали, вспоминает Жуков: «С падением Сталинграда вражеское командование получило бы возможность отрезать юг страны от центра. Мы могли также потерять и Волгу — важнейшую водную артерию страны...»⁷⁵

Август, когда началось германское наступление, и последующие ужасные месяцы Хрущев провел в Сталинграде. «Каждый дом в Сталинграде превратился в поле боя, — рассказывает историк Джон Эриксон, — заводы, вокзалы, улицы, площади, даже отдельные стены становились рубежами битвы». В огромных корпусах Сталинградского тракторного завода развернулось ожесточенное сражение; помещения были заполнены трупами. Раненые отползали на берег Волги, где, если повезет, их подбирал паром и под яростной немецкой бомбежкой перевозил на другой берег. К концу октября территория западного берега, контролируемая советскими войсками, сузилась до одного километра⁷⁶. Однако уже в ноябре Советская Армия начала внезапное контр-наступление, сломавшее хребет вермахту.

Хрущев выполнял роль посредника между сталинградскими генералами и Ставкой. Сталин советовался с ним по вопросам назначения или снятия с должности таких командиров, как Андрей Еременко или Василий Чуйков. Перед контрнаступлением Хрущев ездил по фронтам, проверял боеготовность и боевой дух войск, лично допрашивал пленных, некоторых из них завербовал для пропаганды, а некоторых (по крайней мере, по его собственным словам) спас от расстрела или издевательств со стороны советских солдат⁷⁷.

Однажды Хрущев едва не погиб — немецкие самолеты разбомбили его командный пост. Он находился к югу от города, когда немецкие «мессершмиты» атаковали советские бомбардировщики, направлявшиеся в сторону фронта. Нескольким советским пилотам удалось катапультироваться — но их расстреляли советские войска, приняв за немцев. Хрущев вспоминал, как один летчик отчаянно кричал: «Я свой, свой!» Автоматная очередь заглушила его крик — все было кончено⁷⁸.

Трупы немцев вмерзали в землю: их вырывали, укладывали штабелями, перекладывали железнодорожными шпалами и поджигали. «Это производило очень тягостное впечатление, — вспоминал Хрущев. — Говорят, Наполеон или кто-то другой сказал, что труп врага приятно пахнет. Не знаю, для кого как, а для меня и запах был неприятен, и смотреть на эту картину тоже было неприятно!»⁷⁹

Кинорежиссер Довженко, ездивший по фронтам вместе с Хрущевым, описывал сцену, которой они оба стали свидетелями: «На дороге лежал горящий самолет; очевидно, он упал не больше получаса назад. Рядом — летчик: без рук, без ног, с искореженным торсом, зияющими белыми костями черепа. Из рукавов его комбинезона торчали белые кости. Второго пилота выбросило из самолета; он лежал неподалеку. У него был раздроблен череп; розовый мозг пачкал землю, и над ним кружились крупные зеленые мухи. Я заглянул в лицо летчика, прикрытое какой-то тряпкой. Во лбу у него зияла огромная дыра, темная от засохшей крови»⁸⁰.

Эти картины войны и много лет спустя не давали Хрущеву покоя. Быть может, страшная смерть летчиков напомнила ему о Лене? Однако он умел держать себя в руках. Вдова генерала Родиона Малиновского, бывшая на фронте вместе с мужем, вспоминает случай, когда во время немецкой бомбежки она вжалась в угол, с ужасом ожидая смерти. И в этот момент вошел Хрущев. «А что такого случилось?» — спросил он бодро, с обычной широкой улыбкой на лице⁸¹.

В отличие от Киева и Харькова, в Сталинграде Хрущев сыграл, безусловно, положительную роль. Однако впоследствии он ревниво относился к своим заслугам и преуменьшал заслуги других. Позднее он упрекал Жукова и Василевского за то, что они якобы приписывают успех решительного контрнаступления себе: «Жуков только один раз был в Сталинграде. Побыл с нами немного, уехал и больше не возвращался. Он приехал, когда решение об операции было уже принято»⁸². Главное, заявлял Хрущев, «почтить победу советского народа», а не спорить о том, кому мы

обязаны этой победой⁸³; однако, как обычно, он преувеличивал свою роль. Конечно, Хрущев не приписывал себе авторство идеи контрнаступления под Сталинградом, но всегда старался подчеркнуть свое активное участие и в принятии решения, и в самой операции⁸⁴.

Жуков тоже не отличался скромностью, однако его рассказ более убедителен. 6 октября, когда Хрущев и Еременко предложили контрнаступление, Верховный главнокомандующий и Ставка уже сами пришли к этому решению. Жуков утверждает, что Хрущев об этом не знал, поскольку Верховный главнокомандующий приказал ему держать планы масштабного контрнаступления в строжайшем секрете⁸⁵.

Хрущеву очень хотелось побывать в Москве и поговорить со Сталиным лично; но он был далеко не так влиятелен, как впоследствии старался изобразить. Несколько раз он звонил Василевскому и просил предложить Сталину пригласить его. «Почему вы сами ему не позвоните?» — спрашивал Василевский. Но «Хрущев находил какие-то предлоги для отказа и продолжал настаивать, чтобы позвонил я. “Вам это будет легче, ведь вас он уже вызвал”».

— А что с ним такое? — спросил Сталин, когда Василевский, поддавшись на уговоры, рассказал ему о просьбе Хрущева. — Что он так рвется в Москву? Зачем? — Но наконец согласился: — Ладно. Пусть прилетает. Возьмите его с собой⁸⁶.

Хрущев завидовал тем, кто встречался со Сталиным чаще него, особенно если обсуждались вопросы, в которых считал себя компетентным. Некоторые вопросы были связаны с постоянными и неизбежными конфликтами между Ставкой и полевыми командирами: Сталин не понимал трудностей, стоявших перед фронтовым командованием, а его эмиссары стремились ограничить инициативу на местах и требовали полного подчинения. К эгоизму и зависти примешивался страх за себя — Хрущев понимал, что, если не будет постоянно показываться Сталину на глаза, подозрительный тиран может вообразить его «предателем».

Всякий раз, когда положение становилось тяжелым, — вспоминал Хрущев, — прилетали Маленков, Василевский, Воронов, Новиков или еще кто-нибудь. «Я был не очень высокого мнения о людях, которые приезжали из Ставки. Конкретно они нам ничем помочь не могли... просто отнимали у нас время, не принося никакой пользы»⁸⁷.

Особенно злило Хрущева, когда Маленков с Василевским принимались тихо совещаться где-нибудь в углу. «Как раз в то время (а это всегда бывало в самый критический момент) я чувствовал обостренное внимание к себе со сто-

роны Сталина. Я не раз видел, как при острых поворотах событий шушукуются между собой Василевский с Маленковым. Они, видимо, выгораживали собственные персоны. Видимо, готовили сообщение, чтобы при неудаче свалить вину на кого-то другого. На кого же? Конечно, на командующего войсками и члена Военного совета фронта в первую очередь... Сам-то Маленков в военных вопросах ничего не понимал, но в вопросах интриганства обладал шансами на успех»⁸⁸. Единственной пользой от появления Маленкова в Сталинграде стал, по словам Хрущева, «шикарный туалет. Правда, в туалетную, которая до того была в образцовом состоянии, после того как уехали представители [Ставки], стало невозможно зайти»⁸⁹.

В своих воспоминаниях Хрущев отрицает, что добивался встреч со Сталиным, однако здесь противоречит сам себе. В своих мемуарах, говорит он дальше, он упоминает эти встречи только потому, что «в конце концов я был членом Военных советов на фронтах и членом Политбюро, и Сталин меня знал и со мной считался...»⁹⁰.

Постепенно Хрущев начал относиться к Сталину теплее — главным образом потому, что потеплел к нему и сам вождь. Советские войска одерживали победу за победой, Сталин повеселел, и докладывать ему теперь «было одно удовольствие», вспоминает Хрущев⁹¹. Все его рапорты на протяжении войны производят такое впечатление, словно написаны с целью порадовать или развеселить Сталина. В двух докладах июня 1942 года он приводит выдержки из дневника убитого немецкого офицера и нелестное сравнение американского танка М-3 с советскими танками⁹². В другом докладе мы встречаем забавную историю о горячей перепалке между полковником и генералом, оборванной возгласом генерала: «Товарищ полковник, не забывайтесь!» «Эта история, — вспоминал Хрущев, — Сталину особенно понравилась. И много лет спустя он мог улыбнуться и сказать: “Товарищ полковник, не забывайтесь!” Это означало, что младший по должности должен подчиняться старшему...»⁹³

Как ни старался Хрущев, ублажить Сталина ему удавалось далеко не всегда. В марте 1943 года, по воспоминаниям Жукова, Сталин позвонил Хрущеву, находившемуся в это время на Воронежском фронте, и «резко отчитал» его за «непринятие Военным советом мер против контрударных действий противника». В этом же разговоре Сталин «припомнил Н. С. Хрущеву все его ошибки... допущенные в процессе летних сражений 1942 года»⁹⁴. Другой источник подтверждает, что, «когда Голиков и Хрущев потеряли контроль

над войсками на Воронежском фронте под Белгородом, Жукову пришлось буквально брать командование на себя...»⁹⁵.

Июль 1943 года ознаменовался прославленной битвой на Курской дуге — величайшим танковым сражением в истории, в котором почти четыре тысячи советских танков противостояли трем тысячам немецких танков и самоходных установок⁹⁶. Хрущев, естественно, рассказывает о битве со своей точки зрения, явно преувеличивая свою роль⁹⁷. По его рассказу, перебежчик-эсэсовец предупредил его, что завтра немцы готовятся пойти в атаку, и Хрущев позвонил в Москву, чтобы поставить в известность высшее командование: «Сталин выслушал меня спокойно, и это мне понравилось: не проявил ни грубости, ни резкости»⁹⁸. Хрущев рассказывает, что Сталин спросил, какие у него будут предложения, и Хрущев ответил: «Наши укрепления солидные, и у нас существует уверенность в том, что мы на этих укреплениях заставим врага положить свои силы и истечь кровью. Сами наступать мы еще не можем, но оборону держать готовы: обороняться можно и при меньшей силе».

Мы не знаем, в самом ли деле Хрущев осмелился столь уверенно давать Сталину советы по военным вопросам; он тут же спешит оговориться: «Не знаю, говорил ли он раньше с Ватутиным... Иногда Сталин звонил мне, а в другой раз раньше командующему. Хотел бы, чтобы меня правильно поняли: вот, дескать, звонил ему Сталин. Мол, Хрущев выпячивает себя. Нет, не выпячиваю... Сталин меня хорошо знал и считался со мной, даже несмотря на свое бешенство в моменты тяжелейшего положения для страны, когда он незаслуженно переносил свое настроение на других, когда искал “козла отпущения”... В принципе Сталин относился ко мне с доверием. Он часто звонил мне и спрашивал о моем мнении. Так было и в Сталинграде, и на юге, и на Курской дуге»⁹⁹.

Дмитрий Суханов впервые встретился с Хрущевым в 1940 году. В Сталинграде Хрущев поразил его «интриганством»: этот человек «любил критиковать других, но сам не терпел критики», «окружил себя льстецами» и «с удовольствием пользовался своими привилегиями. Он возил с собой собственного повара (он любил поесть — Сталину это нравилось) и пил тоже свое. Будучи членом Военного Совета, он даже на фронте всюду ходил с охраной»¹⁰⁰.

У Суханова были причины ненавидеть Хрущева (много лет проработав помощником у Маленкова, он был арестован после смещения своего покровителя), однако его сви-

детельство во многом заслуживает доверия. В том, что у Хрущева были личный повар и телохранители, ничего удивительного нет, как и в том, что такой энергичный человек любил поесть. Более расположенный к Хрущеву свидетель, прошедший вместе с ним немало времени, кинорежиссер Довженко, согласен с тем, что Хрущев окружал себя незначительными и угодливыми помощниками¹⁰¹.

В начале 1943 года, когда Хрущев уже подбирал кадры для будущего государственного и партийного управления послевоенной Украиной, он вызвал на свой командный пункт в лесу комсомольского руководителя Василия Костенко. «Пронзительный взгляд его небольших глаз как будто вонзался в меня, — вспоминает тот. — Я старался говорить поменьше, в основном отвечал “да” и “нет”. Говорил он. Он любил поговорить и часто отходил далеко от темы беседы. Это был нормальный, демократический разговор». Но хотя Хрущев и «выглядел простым, незаносчивым человеком, фамильярности он не любил и не позволял; напротив, ему нравилось, когда ему кланяются».

Оказалось, Хрущев хочет, чтобы Костенко возглавил комсомольскую организацию Украины. Он спросил, знал ли Костенко своих предшественников. «Что за вопрос? — подумал Костенко. — В конце концов, почти все комсомольские секретари на Украине погибли, и по крайней мере один из них — уже после того, как Н. С. [Хрущев] прибыл в Киев».

Костенко ответил, что знал. «Сколько именно?» — поинтересовался Хрущев. Костенко ответил: «Двенадцать». — «Составьте мне список», — потребовал Хрущев.

«Этот приказ меня просто потряс, — рассказывает Костенко. — Зачем ему это понадобилось? Но я напечатал список и принес ему».

«Отвезите его в отделение НКВД [в ближайшем городе], — приказал Хрущев, — и передайте им от моего имени этот список. Пусть выяснят, кто из этих людей еще жив».

Костенко так и сделал. Два месяца спустя он получил список обратно: напротив всех фамилий стояли жирные красные минусы. «Никого не осталось в живых», — понял он. Костенко поехал к Хрущеву и застал его в кабинете одного. «Я рассказал ему, что получил список и что никого из этих людей нет в живых. Он встал, подошел к окну, долго молчал, потом прошелся по кабинету. Повернувшись ко мне, он сказал: “Сколько людей убили ни за что”»¹⁰².

В том же 1943 году помощник Хрущева Павел Гапочка послал главе украинского НКВД Сергею Савченко другой список из сорока восьми фамилий — украинская интелли-

генция, историки, артисты, писатели, композиторы, физики, лингвисты. Савченко должен был выяснить, кого из них «можно вернуть на Украину для продолжения научной и культурной работы». Из сорока шести человек, о которых НКВД удалось найти сведения, двадцать шесть были приговорены «к высшей мере наказания» (с пометкой «приговор приведен в исполнение»), а еще шестнадцать — к разным срокам тюремного заключения, и «нынешнее их местонахождение не известно»¹⁰³.

О реакции Хрущева мы ничего не знаем. Однако из истории с этими двумя списками можно сделать несколько выводов: Хрущев в самом деле не представлял себе истинного размаха террора, но узнал правду не в пятидесятых, а гораздо раньше. Мы видим также, что даже в тяжелые годы войны Хрущев придавал огромное значение работникам науки и культуры. В это трудное время он находил возможность отвечать на всевозможные письма и просьбы украинских интеллектуалов¹⁰⁴. Он организовал прием в партию поэта Тычины¹⁰⁵ и пригласил Довженко, к этому времени снова оказавшемуся в фаворе, с собой в поездку по фронтам¹⁰⁶.

Оценив пропагандистские возможности фото- и кинохроники, Хрущев хотел быть уверен, что его деятельность будет достаточно полно представлена и в той, и в другой. Его помощник Гапочка работал при нем неофициальным фотографом — то и дело «щелкал» Хрущева в различных выгодных положениях. Довженко согласовывал с Хрущевым свои кинематографические планы и получал взамен добрые советы. Так, за несколько дней до харьковского разгрома, Хрущев наставлял своего друга в сложных вопросах марксизма-ленинизма и их соотношении с национальным сознанием, подчеркивая, что он любит Украину, однако опасается, что украинцы «забыли марксизм и историю»¹⁰⁷.

Он предложил «создать документальное повествование об освобождении Украины из-под нацистского ярма. Изобразите это событие торжественным, значительным и прекрасным, чтобы люди запомнили его на века, чтобы его перепечатывали, цитировали и включали в сборники». Что за «прекрасная, великолепная мысль со стороны Н. С.! — восхищался Довженко в дневнике. — Непременно этим займусь. Размер: 15—20 страниц, может быть, и меньше. Надо подготовиться к работе. Привлечь поэтов, писателей, композиторов. Н. С. поднял также вопрос об украинской проблеме»¹⁰⁸.

Летом 1943 года Довженко преподнес своему покровителю сценарий фильма, озаглавленного «Украина в огне»: «Я читал Н. С. сценарий до двух часов утра. После этого у нас

был долгий и приятный разговор. Н. С. очень понравился сценарий; он считает, его надо опубликовать отдельной книгой, по-русски и по-украински. Пусть люди прочтут об этом, пусть узнают, что это было нелегко»¹⁰⁹.

Хрушев отдал распоряжение «опубликовать сценарий немедленно и целиком»¹¹⁰. Однако замысел Довженко не пришелся по вкусу Сталину. «В этой работе, — заявил он Политбюро в январе 1944-го, — мягко говоря, пересматривается ленинизм... В сценарии Довженко имеются грубейшие антиленинские ошибки. Это открытое нападение на политику партии. Всякий, кто прочтет “Украину в огне” Довженко, увидит, что это именно нападение»¹¹¹.

Все, кроме Хрушева. Быть может, сочувствие к пострадавшим от войны украинцам затмило для него «ошибки» Довженко — то, что в фильме показаны в основном простые крестьяне, а имя Сталина упоминается всего четырежды; что почти все герои фильма — украинцы; наконец, замаскированные намеки на то, что именно советское руководство сделало Украину уязвимой для нападения врага. Очевидно, Хрушев не заметил того, что Довженко считал в своем сценарии главным: «Мы ошиблись, когда бросили всю Украину в пасть проклятому Гитлеру, и освобождаем Украину мы неправильно. Мы, освободители... тоже отчасти виновны... перед освобожденными. А мы смотрим на них свысока и думаем, что это они перед нами виноваты»¹¹². Неудивительно, что 31 декабря 1943 года Хрушев отказался встретиться с Довженко, а их встреча 3 января 1944-го прошла не слишком гладко. «Как будто мы с Н. С. перестали быть самими собой, — записал Довженко в дневнике, — он превратился в холодного, беспощадного судью, а я — в презренного преступника и врага народа». Хрушев говорил: «Мы еще вернемся к рассмотрению вашей работы. Мы это так не оставим». «Господи, дай мне силы! — продолжает в дневнике Довженко. — Пошли мне мудрость простить доброго Н. С., столь ярко продемонстрировавшего свою слабость — ибо он человек слабый»¹¹³.

По требованию Сталина Хрушев назначил Довженко суровое наказание — подписал приказ об отстранении кинорежиссера от работы. Падение Довженко стало знаком нового поворота в политике Сталина: прежде он использовал украинский национализм против врага — теперь снова объявил его «буржуазным» и «реакционным». Однако «за кадром» Хрушев старался смягчить и ограничить антидовженковскую кампанию — пусть даже хотя бы для того, чтобы не пострадать от этого самому¹¹⁴. Он признался Сталину, что

читал «Украину в огне», однако «на три четверти мои мысли были заняты ходом битвы. Я объяснил это Сталину... Он посчитал, что тут просто была с моей стороны отговорка...»¹¹⁵.

Сталин был прав. Хрущев хитрил: после смерти Сталина он добился «реабилитации» Довженко¹¹⁶.

Хрущев восхищался теми из армейских офицеров, кто был храбр, энергичен, принципиален и заботился о нуждах простых солдат. Люди грубые и некультурные, напыщенные и претенциозные, а в особенности хвастуны и пьяницы вызывали у него презрение. Короче говоря, в других он ценил или отвергал те же качества, что и в самом себе.

Особенно сдружился он с Родионом Малиновским, которого впоследствии сделал своим министром обороны. Происхождение Малиновского было еще скромнее, чем у Хрущева, однако он тоже сумел «выбиться в люди». «Своего отца он не знал, — рассказывал Хрущев. — Мать его, кажется, была незамужней и сына не воспитывала. Он был воспитан тетей...»¹¹⁷ Нам трудно себе представить, что Хрущев и массивный, с каменным лицом Малиновский делились друг с другом детскими воспоминаниями. Однако рассказывает Хрущев и о том, как Малиновский «рыдал в три ручья», узнав о самоубийстве своего друга-офицера. С этим самоубийством связана любопытная история: самоубийца закончил свою записку словами «Да здравствует Ленин!». Почему Ленин? — забеспокоился подозрительный диктатор. Почему не Сталин? И приказал Хрущеву: «Надо будет за Малиновским последить. Следите за всеми его действиями, приказами и распоряжениями». После смерти Сталина Хрущев осмелился признаться в этом самому Малиновскому — и услышал в ответ, что тот «давно все понял — как только я начал ходить за ним по пятам и ночевать в соседней комнате». К счастью, добавляет Хрущев, Малиновский «понимал всю сложность моего положения и не стал таить на меня злобу. Он знал, что, пока он работает честно, я не стану ему мешать и буду докладывать Сталину только хорошее».

Умно сказано, если учесть, что к тому времени Хрущев сделался его начальником! Помимо находчивости Малиновского, эта история демонстрирует нам три важные черты Хрущева: во-первых, он не одобрял распоряжений Сталина («Такое наблюдение было мне неприятно»), во-вторых, все равно их выполнял, и в-третьих, и двадцать пять лет спустя тешил себя мыслью, что именно его влияние на Сталина спасло ситуацию. «Не знаю, кто именно спас Малиновско-

го... Или мне это приписать себе в заслугу — мое влияние в Политбюро (а, видимо, оно было немалым) и ту характеристику, которую я дал ему еще в 1941 году?»¹¹⁸

После операции по освобождению Киева на командный пункт к Хрущеву приехал Андрей Гречко — маршал, работавший с ним в Киеве после войны, а в 1960 году возглавивший объединенные силы стран Варшавского договора. «Помню, заходило солнце, — вспоминал позднее Хрущев. — Стоял теплый вечер, но все-таки осенний, мы вышли в бурках внакидку. Приехал Гречко, докладывает мне. Так как рост у него огромный, а я его давно знал и относился к нему с уважением, то пошутил: «Товарищ генерал, вы, пожалуйста, отойдите подальше. Мне трудно смотреть вам в лицо, когда вы делаете доклад». Он засмеялся, а я попятился назад, и он продолжал докладывать»¹¹⁹.

Хрущев любил военных и стремился чувствовать себя с ними на равной ноге. «Есть у меня свои человеческие слабости, в том числе гордость, — признавался он, — так что я с удовольствием вспоминаю, что был членом Военсовета...»¹²⁰ Даже Василевский, которого Хрущев потом заставил выйти в отставку, признает, что Хрущев «был человеком энергичным, смелым, не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видаться и разговаривать с людьми — и, надо сказать, люди его любили».

Однажды, проезжая по приволжским степям, Хрущев и Василевский остановились перекусить под навесом у дороги. Неподалеку они заметили пожилую пару. Когда Хрущев поздоровался и спросил: «Ну, как тут, как идет жизнь?» — угрюмый бородатый старик мрачно ответил: «Ну какая тут жизнь, что это за жизнь?»

Оказалось, что этот человек до войны был председателем колхоза где-то на Украине; он однажды встречался с «Микитой» и разговаривал с ним. Однако теперь, когда Хрущев был в военной шинели без погон и бекеше, узнать его было нелегко.

— А вот этого человека вы не знаете? — поинтересовался Василевский.

— Не знаю.

— Может, знаете. Ну-ка, приглядитесь.

Старик пригляделся — и вдруг воскликнул:

— Так то ж Микита! Ты-то как здесь?

«Страшно обрадовался Хрущев, — заканчивает историю Василевский, — и стал его обнимать. А тот с неменьшей охотой стал обнимать его. А потом, конечно, позвал позавтракать вместе с нами»¹²¹.

Переход через Днепр в любом случае должен был повлечь за собой большие жертвы; однако Сталин настоял, чтобы Киев взяли не позднее 5—6 ноября, ибо хотел отпраздновать в освобожденном городе двадцать шестую годовщину Октябрьской революции¹²². Советские танки и пехота форсировали реку неподалеку от киевской дачи Хрущева в Межгорье¹²³. В день освобождения в полуразрушенный город первыми въехали несколько американских джипов, полученных по программе ленд-лиза: в первом из них сидели Жуков и его охрана, а на заднем сиденье — Хрущев и Довженко. «Просто нет слов, чтобы выразить ту радость и волнение, которые охватили меня, когда я отправился туда, — рассказывал позже Хрущев. — По старой, знакомой дороге, по которой до войны мы ездили на дачу... Проехали пригород Киева, вот мы и на Крещатике...» Напротив центрального универмага какой-то седобородый старик с кошелкой «кинулся ко мне на шею, стал обнимать, целовать. Это было очень трогательно». Фотограф запечатлел, как Хрущев утешает плачущую женщину — а у самого по щекам текут слезы¹²⁴.

Кортеж свернул к памятнику Шевченко, перед которым Хрущев склонил голову. Горел Киевский университет — его подожгли перед отступлением немцы. «Да этих варваров самих сжечь надо!»¹²⁵ — воскликнул Хрущев. Но восторг был сильнее гнева: «Для меня это была особенная радость. В конце концов, я ведь “отвечал” за Украину, я был здесь секретарем ЦК, и здесь прошли мои детство и юность...»¹²⁶

Еще большей радостью — и для Хрущева, и для всего советского народа — стала окончательная победа над Гитлером¹²⁷. Для Хрущева это чувство было смешанным. То, что столько людей сражалось и погибло за Советский Союз, укрепило его веру в социализм. Хрущев неизменно вспоминал о Сталине. После взятия Киева он отправил вождю письмо — «просто хотел порадовать Сталина»¹²⁸. После капитуляции Германии позвонил ему по телефону, чтобы поздравить — но в ответ услышал резкую и грубую отповедь. «Я просто остолбенел, — вспоминает Хрущев. — Как это? Почему? Очень я тогда переживал и ругал себя: зачем я ему позвонил? Я ведь знаю его характер и могу ожидать чего угодно. Знаю, что он хочет показать мне, что происшедшее — уже пройденный этап, что он уже думает о новых великих делах. Поэтому, мол, чего там говорить о вчерашнем дне?»¹²⁹